

М. П. ПОГОДИН

Из воспоминаний о Пушкине

Получив эту статью от многоуважаемого и неутомимого деятеля русской мысли М. П. Погодина, заявляем нашу глубочайшую признательность за это дорогое внимание к **Русск. Архиву**.

Статья доставлена при следующем письме:

«Вы требуете у меня настоятельно записок о Пушкине. Я обещал их уже несколько лет тому назад П. В. Анненкову, которого биография доставила мне тогда большое удовольствие. Но что делать, я не имел времени до сих пор приняться за них. У меня одна работа погоняет другую, и сколько я ни делаю, а все остается больше и больше дела впереди. Вот и теперь: у меня на руках биография Карамзина, которой я предан всецело. Вслед за нею я должен начать печатание своей Древней Русской Истории, с большим атласом, по милости царской теперь обеспеченное. Между тем для Общества Любителей Русской Словесности необходимо написать воспоминание о Шевыреве. Эта последняя обязанность дает мне, однако ж, возможность удовлетворить отчасти и вас: один эпизод из жизни Шевырева, как и моей, имеет непосредственное отношение к Пушкину, а именно — прибытие Пушкина в Москву в 1826 году, чтение **Бориса Годунова** и основание **Московского Вестника**. Я обратился к своим запискам и воспоминаниям, и посылаю вам этот отрывок, а вместе с ним еще два, кои попались мне на глаза при разборе бумаг: мнение об **Истории Пугачевского бунта** и слова, сказанные мною на лекции при получении известия о кончине Пушкина. Ваш Н. Погодин.

Декабря 23, 1864»

I

Чтение **Бориса Годунова**. Основание **Московского Вестника** в 1826 году.

Успех **Урании*** ободрил нас. Мы составили с Дмитрием Веневитиновым план издания другого литературного сборника, посвященного переводам из классических писателей, древних и новых, под заглавием: **Гермес**. У меня цело оглавление, написанное Шевыревым, из каких авторов надо переводить отрывки для знакомства с ними русской публики. Рожалин должен был перевести Шиллерова **Мизантропа****, Д. Веневитинов брался за Гетева **Эгмонта*****, я за **Геца фон Бёрлихингена******, Шевырев за **Валленштейнов Лагерь*******. Программы сменялись программами, и в эту-то минуту, когда мы были, так сказать, впопыхах, рвались работать, думали беспрестанно о журнале, являлся в Москву Александр Пушкин, возвращенный Государем из его псковского заточения*****. Мы все бросились к нему навстречу.

Представьте себе обаяние его имени, живость впечатления от его первых поэм, только что напечатанных, **Руслана и Людмилы**, **Кавказского пленника**, **Бахчис-Фонтана** и в особенности мелких стихотворений, каковы: **Празднество Вакха**, **Деревня**, **К Домовому**, **К Морю**, — которые привели в восторг всю читающую публику, особенно молодежь, молодежь нашу, архивную, университетскую. Пушкин представлялся нам каким-то гением, ниспосланным оживить русскую словесность.

Семейство Пушкина было знакомо и, кажется, в родстве с Веневитиновыми. Чрез них и чрез Вяземского познакомились и все мы с Александром Пушкиным¹.

Он обещал прочесть всему нашему кругу **Бориса Годунова**. Можно себе представить, с каким нетерпением мы ожидали назначенного дня. Наконец наступило, после разных превратностей, это вождеденное число. Октября 12, поутру, спозаранку мы собрались все к Веневитинову

* Литературный Альманах на 1826 год.

** Напечатано в **Москвитянине**.

*** Переведено и напечатано первое действие.

**** Перевод мой напечатан особою книгою в 1828 с посвящением (1826) Дмитрию Веневитинову <Трагедия Гете>.

***** Отрывки напечатаны в **Московском Вестнике**. Вполне долго не было цензурного разрешения, и лишь гораздо позже он напечатался вполне <Трагедия Шиллера>.

***** Пушкин приехал в Москву в коляске с фельдъегерем и прямо во дворец — 8 сентября 1826. В этот же день на балу у герцога Devonширского (в Шепелевом доме за Яузским мостом) Государь подозвал к себе Блудова и сказал ему: «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?» На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина. С многолюдного бала радостная весть о приезде Пушкина облетела всю Москву.

(между Мясницкою и Покровкою на повороте к Армянскому переулку)*, и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. В 12 часов он является.

Какое действие произвело на нас всех это чтение, передать невозможно. До сих пор еще, а этому прошло почти 40 лет, кровь приходит в движение при одном воспоминании. Надо припомнить,— мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствующий в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией, которой мастером считался Кокошкин, и последним представителем был, в наше время, граф Блудов. Наконец, надо представить себе самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства,— это был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно подвязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем пиитическую, увлекательную речь!

Первые явления выслушаны тихо и спокойно, или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила. Мне показалось, что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена, мне послышался живой голос русского древнего летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков «да ниспошлет Господь покой его душе страдающей и бурной», мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах Самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила,
И в жертву мне Бориса обрекла.

* Ныне дом Мейера. (Дом сохранился. Отмечен мемориальной доской — Кривоколенный пер., 4. — Сост.)

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, полились слезы, поздравления. Эван, Эвое, дайте чаши!

Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью по Волге на востроносой своей ладье, предисловие к **Руслану и Людмиле**:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот ученый
Там ходит по цепи кругом,
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит*.

Начал рассказывать о плане для Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернию, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с Самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл вполнину, о чем глубоко сожалел.

О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм.

На другой день было назначено чтение **Ермака**, только что конченного и привезенного Хомяковым из Парижа. Ни Хомякову читать, ни нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин. Хомяков чтением приносил жертву. **Ермак**, разумеется, не мог произвести никакого действия после **Бориса Годунова**, и только некоторые лирические места вызвали хвалу. Мы почти его не слышали. Всякий думал свое. В антракте мне представился образ **Марфы Посадницы**, о которой я давно думал, искав языка. **Жуковская Орлеанская Дева** дала мне некоторое понятие об искомом языке, а **Борис Годунов** решил его окончательно.

Пушкин знакомился с нами со всеми ближе и ближе. Мы виделись все очень часто. Шевыреву выразил он свое удовольствие за его **Я есмь**** и прочел наизусть несколько

* Написано несколько лет спустя после самой поэмы и появилось лишь при втором ее издании.

** Стихотворение, напечатанное в **Урагии**.

стихов. Мне сказал любезности за повести, напечатанные в **Урании**². Толки о журнале, начатые еще в 1824 или 1823 году, в обществе Раича, усилились. Множество деятелей молодых, ретивых было, так сказать, налицо, и сообщили ему общее желание. Он выразил полную готовность принять самое живое участие. После многих переговоров редактором назначен был я. Главным помощником моим был Шевырев. Много толков было о заглавии. Решено: **Московский Вестник**. Рождение его положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме бывшем Хомякова (где ныне кондитерская Люке): Пушкин, Мицкевич, Баратынский, два брата Веневитиновых, два брата Хомяковых, два брата Киреевских, Шевырев, Титов, Мальцев, Рожалин, Раич, Рихтер, Оболенский, Соболевский. И как подумаешь — из всего этого сборища осталось в живых только три-четыре человека, да и те по разным дорогам! Нечего описывать, как весел был этот обед. Сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов, предположений! Напомню один, насмешивший все собрание. Оболенский, адъюнкт греческой словесности, добрейшее существо, какое только может быть, подпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и, взъерошивая свой хохолок, любимая его привычка, воскликнул: Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, единица, а посмотрю на вас и покажусь себе миллионом. Вот вы кто! — Все захохотали и закричали: миллион, миллион!

В Москве наступило самое жаркое литературное время. Всякой день слышалось о чем-нибудь новом. Языков присылал из Дерпта свои вдохновенные стихи, славившие любовь, поэзию, молодость, вино; Денис Давыдов с Кавказа; Баратынский выдавал свои поэмы. **Горе от ума** Грибоедова только что начало распространяться. Пушкин прочел **Пророка** (который после **Бориса** произвел наибольшее действие) и познакомил нас со следующими главами **Онегина**, которого до тех пор напечатана была только первая глава. Между тем на сцене представлялись водевили Писарева с острыми его куплетами и музыкою Верстовского. Шаховской ставил свои комедии вместе с Кокошкиным, Щепкин работал над Мольером, и Аксаков, тогда еще не старик, переводил ему **Скупого**. Загоскин писал **Юрия Милославского**. Дмитриев выступил на поприще со своими переводами из Шиллера и Гете. Все они составляли особый от нашего приход, который вскоре соединился с нами, или, вернее, к которому мы с Шевыревым при-

соединились, потому что все наши товарищи, оставаясь в постоянных, впрочем, сношениях с нами, отправились в Петербург. Оппозиция Полевого в **Телеграфе**, союз его с **Северной Пчелой** Булгарина, желчные выходки Каченовского, к которому явился вскоре на помощь Надоумко*, давали новую пищу. А там еще Дельвиг с **Северными Цветами**, Жуковский с новыми балладами, Крылов с баснями, которых выходило по одной, по две в год, Гнедич с **Илиадой**, Раич с Тассом и Павлов с лекциями о натуральной философии, гремевшими в университете, Давыдов с философскими статьями. Вечера, живые и веселые, следовали один за другим, у Елагиных и Киреевских за Красными воротами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевского в доме на Дмитровке, у княгини Волконской на Тверской. В Мицкевиче открылся дар импровизации. Приехал Глинка, связанный более других с Мельгуновым, и присоединилась музыка.

Горько мне сознаться, что я пропустил несколько из этих драгоценных вечеров страха ради иудейска...

Для первой книжки Шевырев написал разговор о возможности найти единый закон для изящного и шутивную статью о правилах критики.

Я начал подробным обзорением книги Эверса о древнейшем праве Руси (нигде еще не переведенной), где выразил мои мысли о различии удельной системы от феодальной. Тогда же начал печатать свои афоризмы, доставившие мне много насмешек, особенно вследствие неудачного употребления Ивана Великого для сравнения высших взглядов.

Мы были уверены в громадном успехе; мы думали, что публика бросится за именем Пушкина, которого лучший отрывок, сцена летописателя Пимена с Григорием, должен был начать первую книжку. Но увы, мы жестоко ошиблись в своих расчетах, и главной виною был я, несмотря на все убеждения Шевырева. 1, я не хотел пускать, опасаясь лишних издержек, более 4 листов в книжку до тех пор, пока не увеличится подписка, между тем как **Телеграф** выдавал книжки в 10 и 12 листов. 2, я не хотел прилагать картинок мод, которые по общим тогдашним понятиям служили первою поддержкою **Телеграфа**. В 3-х, я не употребил никакого старания, чтоб привлечь и обеспечить участие князя Вяземского, который перешел окончательно к **Телеграфу** и на первых порах своими остроумными статьями и любопытными материалами содействовал больше

* Псевдоним Н. И. Надеждина.

всех его успеху, обратил читателей на его сторону. Наконец, 4, **Московский Вестник** все-таки был мой *hog d'oeuvrre**. Я не отдавался ему весь, а продолжал заниматься Русскою Историей и лекциями о Всеобщей, которая была мне поручена в университете. С Шевыревым споры у нас доходили чуть не до слез,— и запивались, когда уже сил не хватало у спорщиков и горло пересыхало, Кипрским вином, которого как-то случилось нам запасти по случаю большую порцию. Вино играло роль на наших вечерах, но не до излишков, а только в меру, пока оно веселит сердце человеческое. Пушкин не отказывался под веселый час выпить. Один из товарищей был знаменитый знаток, и перед началом **Московского Вестника** было у нас в моде алеатико, прославленное Державиным.

Весь 1827 год Шевырев работал неумоимо. Тогда кончил он перевод **Валленштейнова Лагеря**, труднейшей вещи для перевода, и заслужил полное одобрение всех нас, начиная с Пушкина.

В марте весь наш круг был потрясен известием о внезапной кончине в Петербурге Дмитрия Веневитинова. Мы любили его всею душою. Это был юноша дивный,— но об нем после, особо...

II

Несколько слов об **Истории Пугачевского бунта** А. С. Пушкина**.

...Для Истории нет тайны, следовательно, эта история, не распечатанная пакета о Пугачевском бунте, должна называться повестью или лучше военною реляциею, реляциею с места***. В самом деле, она имеет гораздо больше достоинства литературного, чем исторического, хотя богата и последним.

В литературном отношении — это самое важное явление в Русской словесности последнего времени и большой шаг вперед в историческом искусстве. Простота слога, безыскусственность, верность и какая-то меткость выражений — вот чем отличается особенно первый опыт Пушкина на новом его поприще. Пушкин, давший в **Борисе**

* вводный эпизод (фр.).

** Было послано к редактору **Московского Наблюдателя** при следующей записке: «Вы желали иметь от меня рецензию *Истории Пугачевского бунта*. Ей-Богу, не имею времени, а вот вам несколько слов, которые вы можете употребить как и где угодно. М. Погодин».

*** Как известно, Пушкин не имел доступа к подлинному делу о Пугачеве, о чем сам он говорит в предисловии.

Годунове язык нашей трагедии, **Пугачевским бунтом** нанес решительный удар ораторской Истории, в коей Карамзин был у нас первым и последним мастером. И в самом деле — можно ли после Карамзина писать в его роде? Он поставил свои Геркулесовы столбы и сказал: **Не далее**, Пушкин пролагает теперь новую дорогу.

Многие читатели, привыкшие к риторике, обманываются наружностью **Истории Пугачевского бунта** и не отдают ей справедливости за мнимую простоту и легкость. О если б они знали, как еще трудно и мудрено писать по-русски легко и просто, то они стали бы говорить иначе и воздали бы хвалу автору, который овладел языком до такой степени, что может говорить им как хочет. Но Пушкин в последнее время должен был привыкнуть к несправедливостям и кривым толкованиям. В утешение мы можем прочесть ему его собственные стихи:

...Ты сам — свой высший суд.
Всех строже оценить умеешь ты свой труд,
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен! Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник³.

Возвратимся к **Истории**, так названной. Ее читаешь как повесть самую занимательную и при всей сухости формы (25 числа Пугачев был там-то, а 26 пошел туда-то) не оставляешь книгу от начала до конца. Так было и с теми, которые после стали порицать ее. Вот сила таланта! Но когда вы прочитаете ее, когда внимание, увлеченное рассказом, вступит во все права свои, тогда возникнут у вас в голове вопросы, на которые вы не вспомните ответов, а по справке не всегда найдете целые, полные, удовлетворительные и останетесь в недоумении, например:

Пугачев был только орудием некоторых яицких казаков, находился под их властью и действовал по их указаниям (стр. 46, 84), но по чьей же мысли, с какою целию распускал он сам первые слухи, подговаривал казаков бежать в Турцию (14)? Кто приготовил ему в Казани тройку, на которой он спасся бегством?

Первые руководители его, зачинщики, были взяты в плен после сражения при Татищевой, а он продолжал действовать без них еще с большею силою — как объяснить это противоречие?

Какую цель имели зачинщики и сам Пугачев, начав возмущение?

Отчего, собственно, они имели такой быстрый успех? В чем именно состояли ошибки начальников?

Ясно, что пожар сначала потушить было легко, но после могли ли дела происходить иначе?

Происхождение бунта у казаков видно, но в городах, деревнях?

Постепенное распространение заразы тоже не обозначено.

С чего Бибииков, окончив почти с успехом возложенное поручение, перед смертью сожалел **об отечестве**, как будто бы оно подверглось какой великой опасности?

Отчего Голицын, одержав прежде всех такую блистательную победу, ничего почти не сделал после?

Кто особенно дал средства Пугачеву поправиться после смерти Бибиикова?

Каким образом, несколько раз разбиваемый наголову, он собирался тотчас с новыми силами?

Что, собственно, сделали Бибииков, Панин? Чем, например, отличаются распоряжения Бибиикова от Рейнсдорфовых?

Отчего бунт показался столь опасным, что сама императрица решалась принять начальство над войском?

Отчего сообщники Пугачева вздумали предать его, быв прежде еще в теснейших обстоятельствах и умев выходить из них?..

Отчего не решились они разбежаться поодиночке в разные стороны?

Какие действия принадлежали Михельсону лично? (Ни слова не сказано, чем он награжден, между тем как едва ли не он больше всех действовал в этом случае и, однако ж, лишился команды над своим отрядом, когда все дело подходило к концу.)

Что значат слова на с. 137: «Должно сказать, что редкий из тогдашних начальников был в состоянии управиться с Пугачевым или с менее известным его сообщником» (NB. Оборот неправильный).

Каким образом произошла мысль о самозванстве?* —

* К сожалению, вопросы, предложенные здесь 30 лет тому назад многоуважаемым историком, доселе остаются вопросами. Так мало разработана у нас наша история XVIII века, хотя с тех пор по предмету пугачевщины обнаружено несколько новых важных бумаг. Особенное внимание исследователи должны будут обратить на слова Екатерины в письме к Моск. ген.-губернатору кн. М. Н. Волхонскому от 29 авг. 1774 г. о Голштинском знамени Дельвигова драгунского полка, которое было отбито у Пугачева. (П. собр. соч. Екатерины, Спб., 1850, III, 289—290).

Надо заметить, что в тамошних краях с древних времен ведется она по преданию.

Собрание документов во 2-й части драгоценное, но, к сожалению, мы не находим здесь подлинных донесений императрице, писем Бибиикова (хранящихся, я слышал, в библиотеке гвардейского штаба)*.

Известие также читателей ваших, что мне обещано подробное описание пугачевского бунта, сделанное одним образованным современником, и до сих пор бывшее неизвестным. Получив, я доставлю сведение об нем *Наблюдателю*, а может быть, и любопытные отрывки.

Ф. Н. ГЛИНКА

Удаление А. С. Пушкина из С.-Петербурга в 1820 году

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.

Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин;
Но голос твой мне был наградой,
Великодушный гражданин!

Пускай Судьба определила
Гоненье грозное мне вновь,
Пускай мне Дружба изменила,
Как изменяла мне Любовь,—

В моем изгнании позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны, если буду
Тобой оправдан, Аристид!..

Так писал А. С. Пушкин из степей Новороссийских в С.-Петербург к Ф. Н. Глинке, отзываясь на поэтическое приветствие сего последнего, напечатанное вскоре после непроизвольного отъезда Пушкина из северной столицы (С. Отечества 1820 г. сент. № 38)¹. Стихи эти недавно читаны были Н. В. Путьятою в торжественном Собрании Общества люб. Росс. словесности, на 50-летнем юбилее литературной деятельности кн. П. А. Вяземского и Ф. Н. Глинки. Тогда же, и по этому поводу, мы позволили себе обратиться к Ф. Н. Глинке за ближайшими разъяснениями его дружеских сношений с Пушкиным. Ф. Н. Глинка почтил нас письмом, из которого приводят-

* Ныне изданных Я. К. Гротом.

ся нижеследующие строки. Приносим глубокую благодарность заслуженному и маститому ветерану нашей словесности. Другие подробности об удалении Пушкина из Петербурга можно найти в нашей книжке: «Пушкин в Южной России». М., 1862, стр. 1—13.

П. Б.

Познакомившись и сойдясь с Пушкиным с самого выпуска его из Лицея, я очень его любил как Пушкина и уважал как в высшей степени талантливого поэта. Кажется, и он это чувствовал и потому позволял мне говорить ему прямо на прямо насчет тогдашней его разгульной жизни. Мне удалось даже отвести его от одной дуэли. Но это постороннее: приступаю к делу. Раз утром выхожу я из своей квартиры (на Театральной площади)² и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был, как и всегда, бодр и свеж, но обычная (по крайней мере при встречах со мною) улыбка не играла на его лице и легкий оттенок бледности замечался на щеках. «Я к вам». — «А я от себя!» И мы пошли вдоль площади. Пушкин заговорил первый: «Я шел к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих (под моим именем) пьесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительств. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьдесят рублей, прося дать ему на прочтение мои сочинения, уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги». При этом рассказе я тотчас узнал Ф<огеля> с его проделками*. «Теперь, — продолжал Пушкин, немного озабоченный, — меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего с ним взяться?.. Вот я и шел посоветоваться с вами...» Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон. В заключение я сказал ему: «Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках — у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности». Тут, еще поговорив немного, мы расстались: Пушкин пошел к Милорадовичу, а мне путь лежал в другое место.

Часа через три явился и я к Милорадовичу, при ко-

* О Ф<огеле> см. ниже.

тором, как при генерал-губернаторе, состоял я, по высочайшему повелению, по особым поручениям, в чине полковника гвардии. Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, окутанный дорогими шальями, закричал мне навстречу: «Знаешь, душа моя! (это его поговорка) у меня сейчас был **Пушкин!*** Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги; но я счел более деликатным (это тоже любимое его выражение) пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать его бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф! все мои бумаги сожжены! — у меня ничего не найдется в квартире; но если вам угодно, все найдется здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажете подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного) с **отметкою**, что мое и что разошлось **под моим именем**». Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал **целую тетрадь**...³ Вот она (указывая на стол у окна), полюбуйся!.. Завтра я отвезу ее к Государю. А знаешь ли? — Пушкин пленил меня своим благородным тоном и **манерою** (это тоже его слово) **обхождения**».

После этого мы перешли к очередным делам, а там занялись разговорами о делах графа, о **Вороньках** (имение в Полтавской губернии), где он выстроил великолепный дом, разбил чудесный сад — он очень любил садоводство — и всем этим хотел пожертвовать в пользу института для бедных девиц Полтавской губернии.

На другой день я постарался прийти к Милорадовичу пораньше и поджидал возвращения его от Государя. Он возвратился и первым словом его было: «Ну, вот дело Пушкина и решено!» Разоблачившись потом от мундирной формы, он продолжал: «Я вошел к Государю с своим сокровищем, подал ему **тетрадь** и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но Вам, Государь, лучше этого не читать!» Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно, а наконец спросил: «А что ж ты сделал с **автором?**» — Я?.. (сказал Милорадович) я объявил ему от имени Вашего Величества **прощение!**.. Тут мне показалось (продолжал Милорадович), что Государь

* Уже тогда было что-то магическое в слове Пушкин. Через шесть лет с подобным же восклицанием обратился император Николай Павлович к гр. Д. Н. Блудову: «Знаешь ли, кто был у меня сей час? — Пушкин!» Ср. Р. Арх. 1865, изд. 2-е, стр. 1249.

слегка нахмурился. Помолчав немного, Государь с живостью сказал: «**Не рано ли?**..» Потом еще подумав, прибавил: «Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благоприятности отправить его на службу, на Юг!»* Вот как было дело. Между тем, в промежутке двух суток, разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. Гнедич, с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах), бросился к Оленину; Карамзин, как говорили, обратился к Государыне**; а (незабвенный для меня) Чаадаев хлопотал у Васильчикова, и всякий старался замолвить слово за Пушкина. Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось **буквально по решению**.

Кто таков помянутый здесь **Фогель**? **Фогель** был одним из знаменитейших, современных ему, агентов тайной полиции. В чине надворного советника он числился (для вида) по полиции; но действовал отдельно и самостоятельно. Он хорошо говорил по-французски, знал немецкий язык, как немец, говорил и писал, как русский. Молодежь называла его **Библейскою птицею**: потому что, кажется, у Сираха сказано: «не говори худого о Властях, ибо Птица (Vogel) перенесет слова твои!» Во время **Семеновской истории**⁴ он много работал и удивлял своими донесениями. Служил он прежде у Вязмитинова, потом у Балашова, и вот один из фактов его искусства в ремесле.

В конце 1811-го года с весьма секретными бумагами на имя французского посла в С. П.-ге выехал из Парижа тайный агент. Его перехватили и проводили прямо в Шлиссельбургские казематы, а коляску его представили к Балашову, по приказанию которого ее обыскали, ничего не нашли и поставили в сарае с министерскими экипажами. **Фогеля** послали на разведку. Он разведал и объявил, что есть надежда открыть, если его посадят, как преступника, рядом с заключенным. Так и сделали. Там, отделенный только тонкою перегородкою от номера арестанта, **Фогель** своими вздохами, жалобами и восклицаниями привлек внимание француза, вошел с ним в сношение, выиграл

* Покойный Государь Александр Павлович, заметивший Пушкина еще в Лицее, выразил свою заботливость о судьбе поэта, послав его на службу к мартинисту Инзову. Мы слышали от П. А. Плетнева, что выбор Инзова сделан был самим Государем. Известно, что Инзов для Пушкина был скорее старшим другом-наставником, чем строгим начальником.⁵

** Марии Федоровне.

его доверенность и через два месяца неволи вызнал всю тайну. Возвратясь в С.-П.-г, **Фогель** отправился прямо в каретный сарай, снял правое заднее колесо у коляски, велел отодрать **шину** и из выдолбленного под нею **углубления** достал все бумаги, которые, как оказавшиеся чрезвычайно важными, поднес министру. Вот какого полета была эта птица, носившаяся над головою Пушкина! — Ф. Г.

ИЗ ПИСЬМА Н. И. ТУРГЕНЕВА К П. И. БАРТЕНЕВУ

1867, 19/31 мая. Париж.

...К<нязь> Алек<сандр> Петр<ович> Голицын, конечно, ошибся, сказав Вам, что я или В. Ст. Порошин послали к Вам письма Пушкина к моему брату. У меня никаких писем Пушкина не было и нет. Есть стихи его рукою писанные, например, его ода: Вольность, которую он в половине сочинил в моей комнате, ночью dokonчил и на другой день принес ко мне написанную на большом листе.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

Еще отрывок из неизданных записок Анны Григорьевны Хомутовой (перевод. с французского)

26 октября 1826. Поутру получаю записку от Корсаковой. «Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин», — Пушкин, возвращенный из ссылки императором Николаем, Пушкин, коего дозволенные стихи приводили нас в восторг, а недозволенные имели в себе такую всеобщую завлекательность. В 8 часов я в гостиной у Корсаковой; там собралось уже множество гостей. Дамы разделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина, так что, когда он взошел, все они устремились к нему и окружили его. Каждой хотелось, чтобы он сказал ей хоть слово. Не будучи ни молода, ни красива собою, и по обыкновению одержимая несчастною застенчивостью, я не совалась вперед и неприметно для других издали наблюдала это африканское лицо, на котором отпечатлелось его происхождение, это лицо, по которому так и сверкает ум. Я слушала его без предупредительности и молча. Так прошел вечер. За ужином кто-то назвал меня, и Пушкин вдруг встрепенулся, точно в него ударила электрическая искра. Он встал и, поспешно подойдя ко

мне, сказал: «Вы сестра Михаила Григорьевича; я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности». Он стал говорить о лейб-гусарском полке, который, по словам его, был его колыбелью, а брат мой был для него нередко ментором*. С этого времени мы весьма сблизились; я после встречалась часто с Пушкиным, и он всегда мне оказывал много дружбы. Летом 1836 года, перед его смертью, я беспрестанно выдала его, и мы провели много дней вместе у Раевских.

Рассказано Пушкиным.

Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего непроизвольного уединения, привез по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня в кабинет императора, который сказал мне: «А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращен?» Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14-м декабре?» — «Неизбежно, государь; все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за это Небо». — «Ты довольно шалил, — возразил император, — надеюсь, что теперь ты обрзумишься и что размолвки у нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором».

Рассказано им же.

Ко мне приходит толстый немец и кланяясь говорит: «У меня к вам просьба, сделайте милость, не откажите!» — «Охотно исполню, если только могу». — «Позвольте мне украсить мое изделие вашими стихами». — «Много для меня чести; но что за изделие и какие стихи?» — «У меня готовится превосходная вакса для сапогов, и если позволите, на баночках я поставлю:

Светлее дня, чернее ночи**.

ИЗ ПИСЕМ П. А. ВЯЗЕМСКОГО К П. И. БАРТЕНЕВУ¹

1867, 22 февраля.

...Вы не только издаете архив, но Вы и сами архив во плоти и в духе. (...)

* В Царском Селе, где стояли лейб-гусары, к которым Пушкин убежал из Лицея.

** Стих. из «Кавказского пленника».

Когда писал своего ф. Визина, никаких подготовительных материалов не было. Благодаря досугу, который даровал мне не спешествующий мне Бог, а даровала мне свирепствующая в Москве холера, и благодаря остафьевской библиотеке, я прочитал несколько сот книг, чтобы немножко расширить круг действия своего, пользовался малоизвестными тогда рукописями, переписками — и так далее. Тут немудрено было и обмолвиться и дать промахи. Не с кем было проверить сказанное и негде было христорадовствовать. Тогда все еще более моего нищенствовали. Помню, когда холера начала уже спадать, зимою Пушкин приехал к нам в Остафьево. Я прочел ему несколько глав труда своего. Главою о театре был он очень доволен. Но бранил меня за то, что я излишне хвалю французских энциклопедистов. В нем иногда прорывалось это чувство, которое грешно назвать патриотизмом, а более сбивается за фарисеизм. Это чувство ныне еще более опошлилось. Разумеется, Пушкин сердился за то, что я сердился на ф. Визина, говорившего с крайним неуважением о том, что нашел он в Европе. Однажды Пушкин тоже в этом роде фонвизинствовал. «Да съезди, милый мой, хоть в Любек», прервал его Тургенев. Разумеется, этим и общим хохотом, над которым раздавался звонкий хохот Пушкина, прервались и все прения.

Приписка: Пушкина вспомнил я потому, что ему одному случалось мне прочесть кое-что из ф. Визина. После в продолжении многих лет рукопись моя пролежала под спудом¹.

1868 30 августа, Царское Село.

...Соболевский писал мне, что он Вам передал статью Мериме о Пушкине². Если Вы ее переведете, чего она в самом деле стоит, то также пришлите мне ее. Могу сделать к ней некоторые отметки.

1868, 27 сентября, Царское Село.

...Стихи Пушкина, обыкновенно приписываемые к моему портрету, стали мне известны только в печати. Но никогда о них ни я ему, ни он мне не говорил³. Ближе к делу можно применить ко мне стихи его в Онегине:

У скучной тетки Таню встрети,
К ней как-то В... подсел и пр.⁴

Далее проглядывает тут и парик Дмитриева. Это полный и живой *Tableau de genre**.

1872 г., 6 марта, Спб.

...Полагаю, что Соболевский немножко драматизировал анекдот о Пушкине⁵. Во-первых, невероятно, чтобы он имел эти стихи в кармане своем, а во-вторых, я видел Пушкина вскоре после представления его Государю и он ничего не сказал мне о своем испуге. Нечто подобное случилось с Дмитриевым. Он мне рассказывал, что когда он взят был под арест при императоре Павле, у него была в кармане книга Михаиловыа о тирании. Тут было чему испугаться, но по счастью Архаров до книги не добрался. Кажется, этой подробности в записках его нет. Очень прошу прислать мне на просмотр строки Ваши, которые будут служить введением к бумагам Пушкина. <...>

Спор о Мицкевиче можно так разрешить: он точно имел сочувствие к Русским, но, как Поляк, не любил России, которая уничтожила Польшу. В стихах своих о памятнике Петра Великого он приписывает Пушкину слова, мною произнесенные, впрочем, в присутствии Пушкина, когда мы втроем шли по площади. И хорошо он сделал, что вместо меня выставил Пушкина. Оно выходит поэтичнее⁶.

1872 г., 9 марта.

Вчера, роясь в своих Киевских пещерах, отыскал я собственноручную черновую записку Пушкина, присланную к Вам в копии⁷. На всякий случай сообщаю ее Вам. Может быть, найдутся варианты, да и все же лучше для достоверности и авторитета печатать с подлинника, который прошу мне возвратить, а копию можете у себя оставить. Жалею, что не знаком я с Вашим племянником Барсуковым — так ли? Пригласил бы я его к себе с просьбою привести пещеры мои с их историческими и литературными мощами в порядок. Иногда принимаюсь сам за это дело, но вдруг охватит меня такая скорбь, такое уныние, что продолжать не могу. Сдается мне, что я живой зарыт в могилу и слышу из-под земли, как раздаются надо мною живые знакомые родственные голоса. Чего и кого я не пережил? И все это для того, чтобы томиться продолжительною болезнью. А как много еще памятных бумаг и сокровищей не доискиваюсь. Сколько растеряно и, вероятно, сколько расхищено.

* Жанровая картина (фр.).

Пришлите вводительные строки свои к записке Пушкина.

1872 г., 14 марта.

Не думаю, чтобы в записке Пушкина было что-нибудь такое, чего нет в черновой, мною Вам сообщенной. Отдавая мне ее, Пушкин, вероятно, сказал бы мне о пропущенных местах. Кажется, и то, что в то время Пушкин не был еще, так сказать, под опекою Бенкендорфа⁸. На днях нечаянно узнал я, что в некоторых литературных кружках ставили меня в некоторых своих баснях. Говорю о книге Кеневича⁹, в которой посреди многих правильных указаний есть много произвольных. Очень мудрено определить теперь, какие встречаются в баснях его исторические и личные намеки. В большей части тут ничего нет положительного, а все гадательно, за исключением, может быть, пяти, шести басней, написанных точно на тот или другой случай. Крылов был очень осторожен и при всей своей беспечности был всегда себе на уме. Он бил наверняка и позволял себе намеки только тогда, когда был уверен, что за них взыскания не будет.

1872, 25 марта, Спб.

При сем несколько писем и бумаг, относящихся до поединка и кончины Пушкина. Здесь, вероятно, Вы не успеете их пересмотреть. Можете взять их с собою в Москву и переписать их до поры и до времени. А если захотите сделать из них немедленное извлечение, то, разумеется, должно поступить осторожно. Но прошу ничего не печатать до предварительного сношения со мною¹⁰. В Полярной Звезде Герцена за 1861 — с стран. 132 до стран. 140 есть кое-что из этих бумаг уже напечатанное, не знаю каким путем добытое¹¹. После возвратите мне мои бумаги — в случае отъезда моего за границу или на тот свет передайте их Павлу Петровичу.

ИЗ ПИСЕМ А. О. СМЕРНОВОЙ К П. И. БАРТЕНЕВУ

1866, 22 декабря, Одесса.

Статьи о Пушкине в последнем году полны живейшего интереса¹. Теперь Кишинев пустыня, а как он был полон жизни тогда. Инзов, Пушкин, Липранди, о котором он так часто мне говорил, Орлов, Алексеев, все это были люди, а не пустые фразеры.

1866, 31 декабря, Одесса.

Да, у нас были люди, и некоторые из этих достойные уважения и замечательные, и мне выпал счастливый жребий знать, и даже близко, Пушкина, Жуковского, Крылова, Полетику, Гоголя, я видела почти ежедневно. Я встречала и Сперанского, и помню эту великолепную фигуру, гениальный лоб, сосредоточенное выражение его светлых черт. Да, были люди, и как не любить, не уважать, не гордиться ими Русским.

1867, 2 апреля.

...Когда поправлюсь, то соберу что у меня есть и пришло, кажется что несколько писем и записок Жуковского у меня здесь. Если бы я умела писать, то могла бы многое сообщить о Жуковском, Пушкине и Гоголе, да и многих других более или менее интересных людях, коих, увы, уже не имеется теперь на Руси.

ВОСПОМИНАНИЯ А. О. СМИРНОВОЙ

Часть лета 1830 года мы провели в Петергофе, а потом в Царском Селе до сентября. Тут мы часто видались с Жуковским, но в 1831 году в Царском мы видались ежедневно. Пушкин с молодой женой поселился в доме Китаева на Колпинской улице¹. Жуковский жил в Александровском дворце, а фрейлины помещались в Большом дворце. Тут они оба взяли привычку приходить ко мне по вечерам, то есть перед собранием у Императрицы, назначенным к девяти часам. Днем Жуковский занимался с Великим Князем или работал у себя. Пушкин писал свои сказки с увлечением. Так как я ничего не делала, то и заходила в дом Китаева. Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгой внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе, перед диваном, находились бумаги и тетради, часто несшитые, простая чернильница и перья; на столике графин с водой, лед и банка с крыжвенниковым вареньем, его любимым (он привык в Кишиневе к дульцецам). Волоса его обыкновенно еще были мокры после утренней ванны и вились на висках; книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил, сидел в сертуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и привирал всякую

чепуху насчет своей соседки, графини Ламберт. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной: «Поп — толоконный лоб и служитель его Балда». «Это так, дома можно,— говорил он,— а ведь цензура не пропустит!»² Он говорил часто: «Ваша критика, мои милые, лучше всех; вы просто говорите: этот стих нехорош, мне не нравится». Вечером, в пять или шесть часов, он с женой ходил гулять вокруг озера или я заезжала в дрожках за его женой; иногда и он садился на перекладинку верхом, и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая *mobilité de l'esprit**. В 7 часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне, если случалось, что меня дома нет, я их заставляла в комфортабельной беседе с моими девушками. «Марья Савельевна у вас аристократка, а Саша друг мой, из Архангельска, чистая демократка. Никого ни в грош не ставит». Они заливались смехом, когда она Пушкину говорила: «Да что же мне, что вы стихи пишете — дело самое пустое! Вот Василий Андреевич гораздо почтеннее вас». — «А вот за то, Саша, я тебе напишу стихи, что ты так умно рассуждаешь». И точно, он ей раз принес стихи, в которых говорилось, что

Архангельская Саша
Живет у другой Саши.

Стихи были довольно длинные и пропали у нее. В это время оба, Жуковский и Пушкин, предполагали издание сочинений Жуковского с выньетками. Пушкин рисовал карандашом на клочках бумаги, и у меня сохранился один рисунок, также и Арабская головка его руки. Жуковский очень любил вальс Вебера и всегда просил меня сыграть его; раз я рассердилась, не хотела играть, он обиделся и потом написал мне опять галиматью. Вечером Пушкин очень ею любовался и говорил, что сам граф Хвостов не мог бы лучше написать. Очень часто речь шла о сем великом муже, который тогда написал стихи на Монплезир:

Все знают, что на лире
Жуковский пел о Монплезире,
И у гофмаршала просил
Себе светелочки просторной,
Веселой, милой, нехолодной,

и пр.

* подвижность ума.

Они тоже восхищались и другими его стихами по случаю концерта, где пели Лисянская и Пашков.

Лисянская и Пашков там
Мешают странствовать ушам.

«Вот видишь,— говорил ему Пушкин,— до этого ты уж никак не дойдешь в своих галиматьях!» — «Чем же моя хуже?» — отвечал Жуковский и начал читать:

Милостивая государыня
Александра Иосифовна!

Вечно вашим покорным слугою
Василий Жуковский.

У него тогда был камердинер Федор (который жил прежде у Александра Ивановича Тургенева) и вовсе не смотрел за его вещами, так что у него всегда были разорванные платки носовые, и он не только не сердился на него, но всегда шутил над своими платками. Он всегда очень любил и уважал фрейлину Вильдермет, бывшую гувернантку Императрицы Александры Федоровны, через которую он часто выпрашивал деньги и разные милости своим protégés, которых у него было всегда куча. М-лле Вильдермет была точно так же не сведуща в придворных хитростях, как и он; она часто мне говорила: «Joukoffsky fait souvent des Bévues; il est nait comme un enfant»*, и Жуковский точно таким же образом отзывался об ней. На вечера, на которые мы ежедневно приглашались, Жуковского, не знаю почему, Императрица не звала, хотя очень его любила. Однажды он ко мне пришел и сказал: «Вот какая оказия, всех туда зовут, а меня никогда; ну как вы думаете: рассердиться мне на это и поговорить с Государыней? Мне уж многие намекали». — «Ведь вам не очень хочется на эти вечера?» — «Нет». — «Разве это точно вас огорчает?» — «Нет, но видите ли, ведь это, однако, странно, что Юрьевича** зовут, а меня нет». — «Ведь вы не сумеете рассердиться, и все у вас выйдет не так, как надобно, и скучнее вам будет на этих вечерах, так вы уж лучше и не затевайте ничего». — «И то правда, я и сам это думал, оно мне и спокойнее, и свободнее». Тем и кончилась эта консультация.

* Жуковский часто действует невпопад, он прост, как дитя.

** Одного из товарищей Жуковского по воспитанию Государя Наследника Цесаревича.

Когда взяли Варшаву, приехал Суворов с известиями; мы обедали все вместе за общим фрейлинским столом. Из Александровского прибежал лакей и объявил радостную и страшную весть. У всех были родные и знакомые; у меня два брата на штурме Воли. Мы все бросились в Александровский дворец, как были, без шляп и зонтиков и, проходя мимо Китаева дома, я не подумала объявить об этом Пушкину. Что было во дворце, в самом кабинете Императрицы, я не берусь описывать. Государь сам сидел у ее стола, разбирал письма, писанные наскоро, иные незапечатанные, раздавал их по рукам и отсылал по назначению. Графиня Ламберт, которая жила в доме Олениной против Пушкина и всегда дичилась его, узнавши, что Варшава взята, уведомила его об этом, тогда так нетерпеливо ожидаемом происшествии. Когда Пушкин напечатал свои известные стихи на Польшу, он мне прислал экземпляр и написал карандашом: «La comtesse Lambert m'ayant annoncée la première prise de Varsovic, il est juste qu'elle recoive le premier exemplaire, le second est pour vous (Графиня Ламберт возвестила мне первая о взятии Варшавы; надо, чтобы она и получила первый экземпляр. Второй для вас).

От вас узнал я плен Варшавы.
Вы были вестницею славы
И вдохновеньем для меня.

Quand j'aurais trouvé les deux autres vers, je vous les enverrai (Когда сыщу два другие стиха, пришлю их вам).

Писем от Пушкина я никогда не получала. Когда разговаривались о Шатобриане, помню, он говорил: «De tout ce qu'il a écrit il n'y a qu'une chose qui m'aye plu; voulez-vous que je vous l'écrive dans votre album? Si je pouvais croire encore au bonheur; je le chercherais dans le monotone des habitudes de la vie» (Если бы я мог еще верить в счастье, я бы искал его в единообразии житейских привычек).

В 1832 году Александр Сергеевич приходил всякой день почти ко мне, также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои Записки» и на первом листе написал стихи: «В тревоге пестрой и бесплодной» и пр.* Почерк у него был великолепный, чрезвычайно четкий и твердый. Князь П. А. Вяземский, Жуковский, Александр Иванович

* Стихи в *Онегине*: «Привычка небом нам дана, замена счастью она». Пушкин любил также повторять: Il n'y du bonheur que dans les voies communes (пути необыкновенные не ведут к счастью).

Тургенев, сенатор Петр Иванович Полетика часто у нас обедали. **Пугачевский бунт**, в рукописи, был слушаем после такого обеда. За столом говорили, спорили; кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофья уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу: «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит: и предмет и автор бунта, конечно, ручаются за его внимание. Не прошло и десяти минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись, он очнулся и начал делать замечания как ни в чем не бывало. Пушкин ничуть не оскорбился, продолжал чтение, а Тургенев преспокойно проспал до конца.

КАНЦЛЕР КНЯЗЬ ГОРЧАКОВ О ПУШКИНЕ

Из письма князя А. И. Урусова к издателю Русского Архива

С.-Петербург, 20 апреля 1871

Спешу исполнить обещание, данное мною еще в прошлом году. Я только что вернулся домой от князя А. М. Горчакова и хочу немедленно восстановить в памяти все, что он мне, с крайнею обязательностью, сообщил о значении двух стихов Пушкина к Лицейской годовщине:

Невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись¹.

Вы интересовались вопросом, представляют ли эти стихи только аллегорический оборот речи или содержат указание на действительный случай в жизни Пушкина? Я просил князя сообщить мне свои воспоминания по этому предмету, объяснив ему, что эти сведения нужны мне для издателя «Русского Архива». — «Я постоянно его читаю, — сказал министр, — и совершенно ясно помню, к чему относились эти стихи».

Вот что удалось мне записать в памятную книжку в то время, когда князь Горчаков, со свойственною ему живостью и изящной красотою языка, рассказывал свои воспоминания о дружбе с Пушкиным — воспоминания, которыми он, видимо, дорожит.

В 1825 году князь Александр Михайлович возвратился

в Россию из Спа, где лечился. Он посетил своего дядю Пещурова, который жил в это время в своей вотчине Псковской губернии, в селе Лямонове. Пещуров принимал большое участие в судьбе Пушкина, жившего в изгнании в деревне, в известном Михайловском. По приезде его из Одессы к поэту был приставлен полицейский чиновник со специальною обязанностью наблюдать, чтобы Пушкин ничего не писал предосудительного... Понятно, как раздражал Пушкина этот надзор. Пещуров, из любви к нему, ходатайствовал у маркиза Паулуччи (тогдашнего Рижского генерал-губернатора) о том, чтобы этот надзор был снят, а Пушкин отдан ему на поруки, обещая, что поэт ничего дурного не напишет. Ходатайство имело успех, а Пушкин вздохнул свободнее².

Узнав о приезде князя Горчакова, Пушкин тотчас приехал из Михайловского в Лямоново, и здесь, на проселочной дороге, друзья действительно встретились и «братски обнялись». Целый день провел Пушкин у Пещурова и, сидя на постели вновь захворавшего князя Горчакова, читал ему отрывки из «Бориса Годунова» и между прочим наброски сцены между Пименом и Григорием. «Пушкин вообще любил читать мне свои вещи, — заметил князь с улыбкою, — как Мольер читал комедии своей кухарке». В этой сцене князь Горчаков помнит, что было несколько стихов, в которых проглядывала какая-то изысканная грубость и говорилось что-то о «слюнях». Он заметил Пушкину, что такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона и слога, которым писана сцена... — «Вычеркни, братец, эти слюни. Ну к чему они тут?» — «А посмотри у Шекспира, и не такие еще выражения попадают», — возразил Пушкин. «Да, но Шекспир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени», — заметил князь. Пушкин подумал и переделал свою сцену.

Пользуясь своим влиянием на Пушкина, князь Горчаков побудил его уничтожить одно произведение, «которое могло бы оставить пятно на его памяти». Пушкин написал было поэму «Монах». Князь Горчаков взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, что это недостойно его имени³. Эстетическое развитие князя Горчакова, его любовь к искусству (он составил себе превосходную коллекцию картин, в числе которых, по отзыву знатоков, нет посредственностей) должны были дать ему значительный вес в глазах чуткого и восприимчивого поэта.

А. С. ПУШКИН В СЕЛЬЦЕ МИХАЙЛОВСКОМ

1

*Со слов Алексея Дмитриевича Скоропоста**

А. С. Пушкин за время этих двух лет дома в селе вел жизнь однообразную: все, бывало, пишет что-нибудь или читает разные книги. К нему изредка приезжали его знакомые, а иногда приходили монахи из монастыря Святогорского, а если он когда выходил гулять, то всегда один и обязательно всегда пешком. Он любил гулять около крестьянских селений и слушал крестьянские рассказы, шутки и песни. В свое домашнее хозяйство он не входил никогда, как будто это не его дело и не он хозяин. Во время бывших в Святогорском монастыре ярмарок А. С. Пушкин любил ходить, где более было собравшихся старцев (нищих). Он, бывало, вмешивается в их толпу и поет с ними разные припевки, шутит с ними и записывает, что они поют, а иногда даже переодевался в одежду старца и ходил с нищими по ярмарке. В таком виде его один раз сам исправник, не узнавши, кто он, взял под арест в арестантскую, но когда открылось, кто он, его сию же минуту освободили. На ярмарке его всегда можно было видеть там, где ходили или стояли толпою старцы, а иногда ходил задумавшись, как будто кого или чего ищет.

2

Со слов крестьянина деревни Гайки Афанасия

А. С. Пушкин за время нахождения своего в селе Михайловском (Зуеве), т. е. в течение двух лет, часто бывал в Святых горах, приходил в монастырь и по целым часам гулял на Святой горе около храма, а иногда даже на том самом месте, где теперь похоронен. Когда он приехал в Михайловское, он никакого внимания не обращал на свое сельское и домашнее хозяйство; ему было все равно, где находились его крепостные и дворовые крестьяне, на его ли работе (барщине) или у себя в деревне. Это было как будто не его хозяйство. Его можно было видеть гулявшим по дороге около деревень или в лесу. Бывало, идет А. С. Пушкин дорогою, возьмет свою палку и кинет вперед, дойдет до нее, подымет и опять бросит вперед, и продолжает

* Заштатного псаломщика села Воронич.

другой раз кидать ее до тех пор, пока приходил домой в село. А. С. Пушкин посещал и Святогорскую ярмарку, и его всегда можно было видеть около столпившихся и певших свои припевки старцев. Он заберется в их толпу и записывает, что они поют, а иногда и сам пел с ними разные припевки. Один раз Пушкин был переодевшись старцем и находился в Святогорском монастыре на девятой ярмарке в толпе нищих, а в это время проходил мимо их исправник. Услышавши, что поют нищие, он приказал их арестовать, но когда узнал, что тут в толпе находится Пушкин, он их освободил, и с тех пор как только полиция увидит, что в толпе нищих находится Пушкин, то полицейские уходят, как будто никого не видели. К нему в село тогда приезжали господа, его знакомые, но всегда на самое короткое время, а также приезжал из Святогорского монастыря монах, беседовал с ним или ходил с ним вдвоем по лесу; а иногда А. С. Пушкин ходил около собравшихся толпою в праздники крестьян, и если они пели песни или разговаривали что-нибудь, он, бывало, остановится и записывает их песни, рассказы и шутки. Он всегда любил ходить пешком, и очень редко его можно было видеть ехавшим в экипаже. Больше же его можно было видеть одного гулявшим, но в крестьянские избы никогда не заходил, а любил иногда разговаривать с крестьянами на улице.

Записывал послушник Владимиров. Верно: Настоятель Святогорского монастыря архимандрит Николай. 1891 г. октября 31 дня.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ Н. В. ПУТЯТЫ*

А. С. Пушкина я видел в первый раз в Москве, в Большом театре, во время празднеств, следовавших за коронацией императора Николая Павловича.

Театр наполняли придворные, военные и гражданские сановники, иностранные дипломаты, словом — все высшее, блестящее общество Петербурга и Москвы.

Когда Пушкин, только что возвратившийся из деревни, где жил в изгнании и откуда вызвал его Государь, вошел в партер, мгновенно пронесся по всему театру говор, повто-

* Эта выдержка любезно сообщена нам Ольгой Николаевной Тютчевой, дочерью Николая Васильевича Путяты (род. 22 июля 1802, ум. 29 октября 1877), некогда председателя Общества Любителей Российской Словесности. Читатели «Русского Архива» помнят его по статьям его, у нас помещенным и по его некрологу (1878, I, 125).

рванный его имя: все взоры, все внимание обратились на него.

У разезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени своей популярности.

Дня через два Е. Баратынский, другой поэт-изгнанник, недавно оставивший печальные граниты Финляндии, повез меня к Пушкину, в гостиницу Hôtel du Nord на Тверской. Пушкин был со мною очень приветлив.

С этого времени я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и Петербурге, куда он скоро потом переселился. Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел, по-видимому, самую рассеянную жизнь, танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества.

Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен, в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили¹. Посредником своих милостей и благодеяний Государь назначил графа Бенкендорфа, начальника жандармов. К нему Пушкин должен был обращаться во всех случаях. Началась Турецкая война. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что Государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средство участвовать в походе: хотите, сказал он, я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою. Пушкину предлагали служить в канцелярии III-го отделения!

Пушкин просился за границу, его не пустили. Он собирался даже ехать с бароном Шилингом в Сибирь, на границу Китая. Не знаю, почему не сбылось его намерение, но следы его остались в стихотворении:

Поедем, я готов
К подножию стены недвижимого Китая.
и пр².

Наконец, весною в 1829 г., Пушкин уехал на Кавказ. Из Тифлиса он написал к гр. Паскевичу и, получив от него позволение, догнал армию при переходе ее через хребет Саган-Лу. Памятником этой поездки осталось прекрасное

описание **Путешествие в Арзерум во время похода 1829 г.**

По возвращении Пушкина в Петербург Государь спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил: **Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя?**

Слышал я все это тогда же от самого Пушкина.

По выходе в свет его Истории Пугачевского бунта появилась пошлая на нее критика в «Сыне Отечества». Только что прочитав эту критику, я пошел на Невский проспект, встретил Пушкина и шутя приветствовал его следующей оттуда фразой: «Александр Сергеевич! Зачем не описали вы нам пером Байрона всех ужасов Пугачевщины?» Пушкин рассмеялся и сказал: «Каких им нужно еще ужасов? У меня целый том наполнен списками дворян, которых Пугачев перевешал. Кажется, этого достаточно!»³

После 1830 г. Пушкина женатого я видал реже. Во время его дуэли я был несколько болен и не выходил из комнаты. Узнав о его смерти, я с принуждением оделся и отправился на его квартиру на Мойке, близ Певческого моста, в нижнем этаже дома князя Волконского. У гроба был непрерывный прилив людей всех состояний, приходивших поклониться праху любимого, народного поэта. Здесь я узнал, что отпевание тела его будет в Адмиралтейской церкви. На другой день, в назначенное время, подъезжаю к этой церкви и, к удивлению моему, вижу, что двери заперты, а около бродят несколько человек в таком же недоумении, как и я. Оказалось, что из опасения какой-либо манифестации на похоронах Пушкина, накануне, в ночь, приказано переменить место отпевания. Оно происходило в Конюшенной церкви. Когда по разным соображениям и расспросам я добрался туда, гроб уже выносили из церкви несколько друзей и лицейских товарищей покойного. Сколько мне помнится, австрийский посланник граф Фикельмон и французский граф Барант одни были в мундирах и лентах.

Зимой, в конце 1837 или в 1838 г. приезжал в Петербург на несколько дней Е. Баратынский и останавливался у меня. В. А. Жуковский, коему Государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал Баратынскому одну из его рукописных тетрадей in folio* в переплете. В ней находится напечатанный потом отрывок Пушкина о Баратынском⁴.

* в лист (лат.).

Тетрадь эта оставалась у последнего самое короткое время; он был уже на отъезде и просил меня тотчас возвратить ее Жуковскому, что я и исполнил. Кроме помянутого отрывка в этой тетради находились некоторые другие статьи в прозе и клочки дневника Пушкина разных годов. Помню из него слово в слово следующие места: 1) число, месяц. «Сегодня приехали в Петербург два француза. Дантез и маркиз Пинна». В этот день ничего более не было записано. Что замечательного мог найти Пушкин в их приезде? Это похоже на какое-то предчувствие! 2) число, месяц... «Меня пожаловали камер-юнкером для того, чтобы Наталья Николаевна могла быть приглашаема на балы в Аничков. Вечером я был на бале у Б. Великий князь Михаил Павлович встретил меня в дверях и поздравил. Я отвечал ему: Ваше высочество, вы одни меня поздравляете, все надо мною смеются»⁵.

Пушкин был необыкновенно впечатлителен и при этом имел потребность высказаться первому встретившемуся ему человеку, в котором предполагал сочувствие или который мог понять его. Так, я полагаю, рассказал он мне ходатайство свое у графа Бенкендорфа и разговор с Государем.

Такую же необходимость имел он сообщать только что написанные им стихи. Однажды утром я заехал к нему в гостиницу Демута, и он тотчас начал читать мне свои великолепные стихи из *Египетских ночей*: «Чертог сиял и пр...» На вечере, в одном доме на островах, он подвел меня к окну и в виду Невы, озаряемой лунным светом, прочел наизусть своего «Утопленника», чрезвычайно выразительно.

У меня на квартире читал он мне стихи: «Таи, таи свои мечты» и пр., и по просьбе моей, тут же написал мне их на память. Все эти стихотворения были напечатаны уже впоследствии.

Не хвастаюсь дружбой с Пушкиным, но в доказательство некоторой приязни его и расположения ко мне могу представить, кроме помянутого автографа, еще одну записку его на французском языке. Пушкин прислал мне эту записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки меня смутило, вот она: «*M'étant approché hier d'une dame, qui parlait à m-r de Lagrené*, celui — ci lui dit assez haut pour qui je l'entendisse: renvoyez-le! Me trouvant forcé de demander raison de ce propos, je vous prie,*

* Лагрене был секретарем Французского посольства.

*monsieur, de vouloir bien vous rendre auprès de m-r de Lagrené et de lui parler en conséquence. Pouchkine»**.

Я тотчас сел на дрожки Пушкина и поехал к нему. Он с жаром и негодованием рассказал мне случай, утверждал, что точно слышал обидные для него слова, объяснил, что записка написана им в такой форме и так церемонно именно для того, чтобы я мог показать ее Лагрене, и настаивал на том, чтобы я требовал у него удовлетворения. Нечего было делать: я отправился к Лагрене, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагрене с видом удивления отозвался, что он никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно послышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного, особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает как знаменитого поэта России, и рассыпался в изъявлениях этого рода.

Пользуясь таким настроением, я спросил у него, готов ли он повторить то же самому Пушкину, Он согласился, и мы тотчас отправились с ним к Александру Сергеевичу. Объяснение произошло в моем присутствии, противники подали руку друг другу, и дело тем кончилось. На другой день мы завтракали у Лагрене с некоторыми из наших общих приятелей.

Стихи Пушкина, писанные его рукою, и французская его записка свято у меня сохраняются.

В. И. ДАЛЬ

Записки о Пушкине

Я слышал, что Пушкин был в четырех поединках, из коих три первые кончились эпиграммой, а четвертый смертью его. Все четыре раза он стрелялся через барьер, давал противнику своему, где можно было, первый выстрел, а потом сам подходил вплоть к барьеру и подзывал противника.

Помню в подробности один только поединок его, в Кишиневе, слышанный мною от людей, бывших в то время на месте.

* Вчера, когда я подошел к одной даме, разговаривавшей с г-ном де Лагрене, последний сказал ей достаточно громко, чтобы я его услышал: прогоните его. Поставленный в необходимость потребовать у него объяснений по поводу этих слов, прошу вас, милостивый государь, не отказать, посетить г-на Лагрене для соответствующих с ним переговоров. Пушкин (*фр.*). Записка относится к 1828 году.

В Кишиневе стоял пехотный полк, и Пушкин был со многими офицерами в клубе, собрании, где танцевали. Большая часть гостей состояла из жителей, молдаван и молдаванок; надобно заметить, что обычаи, в то время особенно, ввел очень вольное обращение с последними. Пушкин пригласил даму на мазурку, захопал в ладоши и закричал музыке: «мазурку, мазурку!» Один из офицеров подходит и просит его остановиться, уверяя, что будут плясать вальс. «Ну,— отвечал Пушкин,— вы вальс, а я мазурку» — и сам пустился со своей дамой по зале.

Полковой или батальонный командир, кажется, подполковник Старков, по своим понятиям о чести, считал необходимым стреляться с обидчиком, а как противник Пушкина по танцам не решался на это сам, то начальник его принял дело это за себя.

Стрелялись в камышах придунайских, на прогалине, через барьер, шагов на восемь, если не на шесть. Старков выстрелил первый и дал промах. Тогда Пушкин подошел вплоть к барьеру и, сказав: «пожалуйста, пожалуйста сюда», подозвал противника, не смеявшего от этого отказаться; затем Пушкин, уставив пистолет свой почти в упор в лоб его, спросил: «довольны ли вы?» — тот отвечал, что доволен. Пушкин выстрелил в поле, снял шляпу и сказал:

Подполковник Старков
Слава богу, здоров.

Поединок был кончен, а два стиха эти долго ходили вроде поговорки по всему Кишиневу, и молдаване, не знавшие по-русски, тешились, затверживая ее ломаным языком наизусть.

Подробности другого поединка — кажется, в Одессе — не помню; знаю только, что противник Пушкина не выдержал, что Пушкин отпустил его с миром, но сделал это тоже по-своему: он сунул неразряженный пистолет себе под мышку, отвернулся в сторону...

В Оренбурге Пушкину захотелось сходить в баню. Я свел его в прекрасную баню к инженер-капитану Артюхову, добрейшему, умному, веселому и чрезвычайно забавному собеседнику. В предбаннике расписаны были картины охоты, любимой забавы хозяина. Пушкин тешился этими картинами, когда веселый хозяин, круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях, вошел, упрашивая Пушкина ради первого знакомства откусать пива или меду. Пушкин

старался быть крайне любезным со своим хозяином и, глядя на расписной предбанник, завел речь об охоте. «Вы охотитесь, стреляете?» — «Как же-с, понемножку занимаемся и этим; не одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке». — «Что же вы стреляете — уток?» — «Уто-ок-с?» — спросил тот, вытянувшись и бросив какой-то сострадательный взгляд. — «Что же? разве уток не стреляете?» — «Помилуйте-с, кто будет стрелять эту падаль! Это какая-то гадкая старуха, валяется в грязи — ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьется, валяется в грязи, кувыркается... тьфу!» — «Так что же вы стреляете?» — «Нет-с, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего Фингала, — а он нюх-нюх направо — нюх налево, — и стойку: вытянулся как на дружине — одеревенел, сударь, одеревенел, окаменел! Пиль, Фингал! Как свечка загорелся, столбом взвился»... — «Кто, кто?» — перебил Пушкин с величайшим вниманием и участием. «Кто-с? разумеется кто: слука, вальдшнеп. Тут царяп его по сарафану... А он, — (продолжал Артюхов, раскинув руки врознь, как на кресте), — а он только раскинет крылья, головку набок — замрет на воздухе, умирая как Брут!»

Пушкин расхохотался и, прислав ему через год на память «Историю Пугачевского бунта», написал:

«Тому офицеру, который сравнивает вальдшнепа с Валенштейном»².

«Я стою вплоть перед изваянием исполинским, которого не могу обнять глазом — могу ли я списывать его? Что я вижу? Оно только застит мне исполинским ростом своим, и я вижу ясно только те две-три пядени, которые у меня под глазами».

Пушкин, о Петре.

Еще Пугачевщина, которую я не успел сообщить Пушкину вовремя:

При проезде государя наследника — нынешнего царя нашего — из Оренбурга в Уральск я тоже находился в поезде. Мы выехали в 4 часа утра из Оренбурга и не переводя духу прискакали в 4 часа пополудни в Мухраковскую станицу, на этом пути первую станицу Уральского войска. Все казаки собрались у станичного дома, в избах оставались одни бабы и дети. Тощий, не только голодный, я бросился в первую избу и просил старуху подать каймач-

ка, топленого молока — сырого здесь не держат — и хлеба. Отбив у скопы цыпленка, схваченного ею в тревогу эту на дворе, старуха радушно стала собирать на стол. «Ну что,— сказал я: — чай, рады дорогому гостю, государю наследнику?» — «Помилуй, как не рады? — отвечала та.— Ведь мы тут — легко ли дело, царского племени не выдывали от самого от государя Петра Федоровича...»

То есть — от Пугачева.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании впервые объединены все посвященные А. С. Пушкину биографические исследования П. И. Бартечева, а также большинство из его многочисленных заметок, рецензий, предисловий, послесловий и примечаний к различным публикациям, разбросанным по страницам журнала «Русский Архив» на протяжении полувека (1863—1912). Кроме того, сюда вошли собранные Бартечевым в 1850—1880 гг. воспоминания современников о Пушкине, как записанные им самим, так и полученные по его просьбе от авторов, отрывки из писем к нему. К сожалению, оказалось невозможным из-за большого объема (около 8 авт. л.) воспроизвести замечания И. П. Липранди на работу П. И. Бартечева «Пушкин в Южной России», представляющие собой, по существу, самостоятельные воспоминания, а также весьма ценные заметки на полях рукописи Липранди, принадлежащие В. П. Горчакову.

Публикуемые материалы сгруппированы в три раздела: I. Все, принадлежащие перу самого Бартечева; II. Воспоминания современников о Пушкине, записанные Бартечевым с их слов; III. Воспоминания, написанные самими мемуаристами по просьбе Бартечева или найденные и напечатанные им.

Сохранены повторения, встречающиеся в различных публикациях, так как одни и те же факты приобретают различные смысловые оттенки в зависимости от контекста.

Принцип расположения материала внутри разделов — хронологический, по времени публикации. Только в первом разделе вперед вынесены вне хронологии некоторые монографические очерки.

Под строкой приводятся примечания Бартечева; некоторые частные пояснения других авторов и составителя настоящего издания, специально оговоренные; переводы иноязычных текстов.

Остальные пояснения, как более общего, так и частного характера, отнесены в раздел «Примечания».

Все тексты печатаются по новой орфографии и с исправлением пунктуации. Оставлены лишь немногие специфические формы правописания.

Имена и фамилии, обозначенные инициалами или сокращенно, где это оказалось возможным, развернуты.

Цитаты из произведений и писем Пушкина приводятся Бартечевым по первому посмертному Собранию сочинений поэта и по Собранию сочинений под редакцией П. В. Анненкова (соответствующие тома и страницы Полного собрания сочинений Пушкина в шестнадцати томах).— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1949.

В работе по подготовке текстов принимали участие Т. С. Бердникова, И. А. Гордина, Н. Я. Мазель.

Условные сокращения:

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом), рукописный отдел.

ПСС — Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1949.

«Пушкин в воспоминаниях» — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 1—2.— М., 1974.

«РА» — «Русский Архив».

«Рассказы о Пушкине» — Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартечевым в 1851—1862 гг./Вступ. ст. и примеч. М. Цявловского.— М., 1925.

ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства.